

## ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



Вы знаете, что я очень люблю и высоко ценю Ваш большой, умный, веселый талант.

*А. М. Горький*  
(письмо к А. Н. Толстому)

мя А. Н. Толстого я услышал впервые во времена моей далекой юности, когда был учеником старших классов одной из гимназий столичного тогда Петербурга. Один из моих товарищей, такой

же, как и я, энтузиаст поэзии, показал мне однажды тоненькую книжку в оранжевой обложке и сказал таинственно: «Вот, почитай! Что ты об этом думаешь?»

Привыкнув к тому, что приятель любил удивлять меня футуристическими новинками и альманахами, пропагандирующими тогда, в 1914—1916 годы, «заумь», я взял книжку недоверчиво. Но название ее было очень простым: «За синими реками»; автором значился неведо-

мый мне гр. А. Н. Толстой. Граф? Да, несомненно. Вот и тщательно выписанный старинный герб с каким-то единорогом, пронзающим звезду.

Мое демократическое сердце не очень доверяло поэзии аристократических отпрысков, выпускающих посредственные стихи на веленовой бумаге и, разумеется, «изданием автора». В предреволюционное время немало таких эстетски оформленных сборников лежало на книжных прилавках. Глаз к ним давно привык. Они ничего не давали ни уму, ни сердцу.

Но вот книжка развернута, бегло прочитано первое попавшееся на глаза стихотворение, и уже нет сил оторваться от этих необычных страниц. Нет, это не упражнения дилетанта стихотворца, это, конечно, сама поэзия, и притом глубинно русская, черпающая свои силы из народных сказок, поверий, преданий седой старины. Пахнет от нее какой-то очень древней языческой Русью, где есть и Дажь-бог, и Перун, и Ярила, и колдовские травы, и сказочно прекрасные молодцы, и девицы с русой косой, и алый камень-приворот, и Сарынь-река. Правда, ощущается в этой книге некоторый налет литературной стилизации, есть повторение тем, уже использованных С. Городецким в его славянском сборнике «Ярь», но какая вместе с тем свежесть и сила, какое глубинное чувство идущего корнями в родной чернозем упругого, добротного, цветистого и певучего русского слова!

Так впервые познакомился я с именем А. Н. Толстого, думая, что судьба столкнула мое жадное читательское любопытство с новым талантливым поэтом. Я тогда не подозревал, сколько радости впоследствии доставит мне этот автор и своею прозой, которая, несмотря на всю свою бытовую реалистичность, поднимается — и нередко — до высот самой чистой поэзии.

Сборник стихов «За синими реками» не доставил известности Толстому. Он прошел совершенно незамеченным, заслоненный первыми книгами рассказов того же писателя, в которых читатель сразу же почувствовал рождение нового самобытного таланта, превосходно владеющего русским классическим языком и продолжающего традиции нашей «большой литературы» XIX века.

Все это я уяснил себе несколько позднее, когда стал жадно читать прозу Толстого, с каждой книгой убеждаясь в том, какой это яркий и самобытный талант. И особенно пленял меня его язык, необычайно гибкий в интонациях, весь пронизанный тонким, по-русски умным и лукавым юмором. Я уже не говорю о чисто гоголевском штрихе портретных характеристик и по-тургеневски легком и мягком пейзажном рисунке.

Увидеть А. Н. Толстого и познакомиться с ним довелось мне только в советское время, после его возвращения из-за границы. В этот период он охотно принимал участие в различных литературных вечерах, ездил по окраинным клубам, любил вступать в разговоры с малоизвестными ему людьми. Легко, естественно и как-то даже весело Алексей Николаевич входил в обиход непривычной для него жизни, жадно интересуясь ею, вникая во все мелочи нашего быта. В эту пору его часто можно было видеть в писательских организациях, на общих собраниях, литературных вечерах и встречах. С интересом присматривался он и к нам, тогдашней литературной молодежи.

Помнится, как-то зашел у нас разговор о литературе предреволюционной поры, и я задал Алексею Николаевичу неожиданный для него вопрос: а как сам он относится к тому, что был когда-то поэтом, как расценивает теперь свою давнюю книжку «За синими реками»? И надо было видеть, как заволновался, даже растрогался Толстой. «Вы знаете эту книжку? Чудеса! Поистине чудеса! А я-то думал, что она совсем неизвестна молодому советскому читателю. Да! — задумался Алексей Николаевич. — Это было едва ли не первое мое печатное детище, хотя в то время я писал довольно много — и почти исключительно прозу. Стихи были для меня заветным делом, хотя я и не помышлял никогда стать настоящим поэтом. Я стихи люблю и любил с самого детства. Классиков в основном, конечно. Стихи очень хороши как первый этап в работе каждого прозаика. Это великолепная школа, приучающая взвешивать, оценивать, выбирать и беречь слова. Не написав «Полтавы», не напишешь ни «Пиковой дамы», ни «Капитанской дочки». Конечно, моя стихотворная книжечка, единственная к тому же, не бог весть что, все в ней молодо да зелено».

Я, помнится, стал горячо возражать Алексею Николаевичу, вспоминал свои юношеские впечатления от его стихов и упомянул, кстати, об их чисто русском, фольклорном колорите.

— Вот-вот! — подхватил Толстой.— Если есть что ценное в тогдашних моих опытах, то это прикосновение к народной сокровищнице русских сказок и песен. Правда, делалось это несколько подражательно, эстетски, как я сейчас вижу. Но основа-то была правильная. От этой основы, кстати сказать, пошли и «Сорочьи сказки» — тоже одна из самых ранних книг.

Об отношении А. Н. Толстого к стихам вообще, а к своим в частности, у нас, кажется, не писал никто, и потому небезынтересно будет напомнить о том периоде его жизни, когда он, уже прославленный прозаик, создатель трилогии о судьбах интеллигенции в революции и творец замечательного исторического романа, вновь, правда на короткое время, обратился к увлечению своей юности, к поэтическому слову.

Речь идет о нашей совместной работе для музыкального театра, которая осуществлялась под непосредственным руководством и при участии А. Н. Толстого. Но об этом несколько позднее.

\* \* \*

Как было уже сказано, я впервые познакомился с Алексеем Николаевичем вскоре после его возвращения на родину из-за границы, в 1924—1925 годах, когда уже давно знал и любил его книги, в особенности те, где он так удивительно рассказывал о любви, о пленительной душе русской женщины, о близкой ему природе Заволжья и среднерусской полосы. Но наше знакомство было отдаленным, ограниченным местами чисто литературских встреч. Давний пиетет, который с юности воспитала во мне его литературная слава, мешал более тесному сближению, не говоря уже о разности литературных поколений. Скажу более, меня поначалу несколько расхолаживало несоответствие внешне барственного, чуть надменного облика Толстого с неповторимо чаровавшим меня в те годы поэтическим звучанием его таланта, про-

пизанного лирикой русской природы и простым, ясным, любовно-проникновенным изображением русского национального характера. И только несколько позднее, когда в узком литературском кругу я увидел, как Толстой слушает читающего стихи Сергея Есенина, мне стало понятно что-то самое настоящее в его человеческой сущности.

Это было на палубе дачного парохода, в Финском заливе, в виду приближающихся зеленых берегов Петергофа. Мы сидели тесным кружком под душным, туго натянутым тентом. Море было гладким, точно вылитым из стекла, и сверкало ослепительно. Деловито шлепали пароходные колеса, с мягким шорохом рассыпалась волна, разрезаемая на ходу. Острый ветерок тянул со стороны Кронштадта. Есенин, тоже только что вернувшийся из-за границы, с расстегнутым воротом белой рубашки, загорелый, веселый, непривычно оживленный, прислонясь к борту, читал свои стихотворения — одно за другим — и, лихо встряхивая курчавой головой, словно бросал кому-то вызов молодости и силы. В этот вечер он был особенно в ударе, и все, кто слушал, не могли оторвать от него глаз. Но особенно поразило меня лицо Толстого. Ранее рассеянный и несколько апатичный, грузно сидевший на палубной скамье, сейчас он весь был полон внимания и даже подался вперед всем своим телом. Пальцы его все быстрее и настойчивее отбивали такт на правом колене. Вдруг Толстой резко сдвинул на затылок заграничную шляпу и тыльной стороной руки стер со лба внезапно выступивший пот. Потом встал, грузно шагнул к Есенину и широким жестом потрянул его за плечи. Широкая улыбка озарила его гладко выбритое лицо.

— Вот это стихи! — сказал Алексей Николаевич и тяжело перевел дыхание. — Ну, молодец! Да с тебя, видно, ни в каких заграничных водах родной песни не сможешь, русская ты косточка! Ну скажи, как ты там думал без нашей березы, без вот этого облака прожить?! Не проживешь! Все это нам на роду загадано, и от своей земли не уйти никуда. Всюду она найдет тебя, голубчик мой!

Он широко обнял несколько смущенного Есенина и трижды, по-русски, поцеловал его. Потом, словно сму-

тившись, насупился и вновь принял прежний сдержанный, несколько холодноватый вид.

Мы уже подходили к Петергофу. Бортовые матросы привычно и ловко готовили причальные концы. Толстой надвинул на лоб шляпу и с неторопливой важностью сошел на пристань.

После этого памятного вечера мне неоднократно приходилось встречаться с Алексеем Николаевичем, но эти встречи были случайны и не переходили в длительную дружескую беседу. Слишком большое расстояние в литературной иерархии разделяло нас тогда. Однако Толстой не давал этого почувствовать. Он был отменно предупредителен, шутил добродушно, и у него вошло в привычку подтрунивать над «чрезмерным лиризмом некоторых наших поэтов». Делал он это так просто и приветливо, что на него никто не мог бы рассердиться. Повторяю, знакомы мы с ним были мало, и потому меня несказанно удивило, когда однажды осенью он сам позвонил мне по телефону и попросил приехать к нему в Детское Село, как он выразился, «для одного дельного разговора».

На следующий день я не без некоторого вполне понятного смущения поднимался по ступенькам толстовского дома. Меня провели в большую прохладную столовую со старыми портретами, хрусталем в прозрачной горке и петровской мебелью. Немного спустя вышел в халате Толстой (назначил он мне для разговора час довольно ранний). Не знаю как, но ему удалось через несколько минут совершенно рассеять мое смущение. Мы разговаривали просто, как давние знакомые. Речь шла о том, что Алексей Николаевич, незадолго перед тем вернувшийся из поездки в Прагу, привез с собой клавир популярнейшей чешской оперы композитора Сметаны «Проданная невеста» и был увлечен мыслью поставить ее на русской оперной сцене. Он уверял меня в том, что это чудесная, чисто народная музыка и что подобный спектакль, в котором должны отразиться самые существенные черты чешского народа, несомненно послужит началом культурного сближения с одной из самых значительных и интересных славянских стран. Он предлагал мне взяться за создание русского текста и обещал всемерную творческую помощь. Предложение

это очень заинтересовало меня, мы начали деловую беседу. Кончилось тем, что я уехал из Детского после оживленного дружеского обеда, снабженный объемистым клавиром.

Детальное знакомство с музыкальным текстом убедило меня в том, что задача оказалась намного труднее, чем я представлял. Начать с того, что клавир был, в сущности, переложением, своеобразной антологией наиболее важных в музыкальном и сюжетном отношении сцен и лишен текста на каком-либо из известных мне языков. Только содержание оперы было изложено по-немецки, на двух страничках предисловия, в очень сжатом виде.

В следующее свидание я смущенно рассказал Толстому о предстоящих трудностях подобной работы. Он улыбнулся и утешил меня всегда выручающей в таких случаях поговоркой: не боги горшки обжигают.

— Ну что же,— добавил он добродушно и лукаво.— Если у нас ничего нет в распоряжении, кроме этого предисловия и музыки, давайте слушать музыку.

И весь вечер в тот день нам играли стремительные, летящие на крыльях народной песни мелодии Сметаны. Алексей Николаевич припоминал, сцену за сценой, спектакль, так пленивший его в Праге. Он пересказывал его необычайно ярко, пересыпая свою речь забавными шутками и даже изображая в лицах основных персонажей: упрямого, туповатого отца невесты — чешского крестьянина Миху, весельчака-балагура Кецала, выбранного сватом, и идиотски боязливого, недалекого заика жениха, сына деревенского богача.

— Если к этим основным персонажам прибавить любовную пару — милую девушку Маженку, которая отстаивает свое право любить по выбору собственного сердца, и ее дружка, батрака Янека,— мы будем иметь в руках все нити нужного нам сюжета,— убеждал меня Алексей Николаевич.— Ситуация проста и обычна. Любящие друг друга Маженка и Янек соединяются вопреки всем препятствиям, которые ставят на их пути упрямый отец девушки и хитрый сват Кецал, защитник интересов туповатого кулацкого сына, претендующего на руку Маженки. Основное развитие событий нам в общих чертах известно, музыка подскажет остальное — и мы

сколотим (он так и сказал «сколотим») полный жизни и солнца спектакль, который заставит зрителя смеяться от всего сердца. Поэтому не трусьте и принимайтесь за работу! И давайте начнем с чего-нибудь яркого, наиболее интересного.

Вот тут есть сцена, когда хитрый сват пытается подпойть батрака Янека и заставить его за деньги отказаться от своей Маженки. Сват Кецал и сам выпил немало, язык у него развязался от хмеля, и чешское пиво ударило ему в голову (не забывайте, что дело происходит во время сбора хмеля, национального чешского праздника, когда обыкновенно играют свадьбы). Кецал соблазняет Янека возможностью жениться на другой, богатой невесте, какой-то старой сухопарой вдове. Смотрите, как он обхаживает его со всех сторон, каким расстилается мелким бесом, как восхваляет все несуществующие достоинства этой вдовы. Сколько юмора, блеска, лукавства в речитативной партии Кецала!

Надо сюда дать такие же русские слова, и они есть, они найдутся, потому что эта чешская деревенская история — родственник нам славянский материал, и тут почти ничего не надо изобретать и выдумывать. Я это себе так представляю. Вот вы будете Янеком и сядете против меня за круглым трактирным столом, на котором две огромные глиняные кружки с великолепным чешским пивом. А я — сват Кецал. И хоть мы оба с вами выпили немало, и в голове у нас лес шумит, а вся площадь каруселью вертится, — я все время помню, что от вас мне нужно во что бы то ни стало добиться отказа от Маженки. Я все время подсовываю вам другую невесту, вру, как индюк, и расхваливаю ее воображаемые прелести. Смотрите, как это будет!

И Толстой, внезапно собрав в лукавую сетку морщин свое лицо, слегка сгорбившись, преувеличенно оживленно размахивая руками, то и дело заливаясь дробным стариковским смешком, понижая голос до льстивого шепота, поднимая его до раскатов притворного негодования, с таким жаром и с такой страстью начал меня убеждать в необходимости жениться на сухопарой бабе, что я не выдержал и вместе с ним раскатился хохотом, вконец разрушив сценическую иллюзию.

Стоит ли говорить о том, что я принес через два-три

дня уже готовую арию свата Кецала: «Есть у невесты дом и дукаты». В ней было почти все, что так вдохновенно и неожиданно показал мне накануне в лицах сам Алексей Николаевич. Так, из живых наших бесед, из слушанья музыкальных отрывков клавира, из рассматривания чешских рисунков и фотографий постепенно вырос русский текст знаменитой оперы Бедржиха Сметаны. Алексей Николаевич не ограничивался добрыми советами. Он, постепенно увлекаясь этой непривычной работой, захотел и сам, как говорил он, «тряхнуть стариной» и написал несколько выразительных куплетов, преимущественно комического характера. После первых же совместных разговоров мне стало совершенно ясно, что нужно делать дальше, и Толстой, удовлетворенный нашим началом, предоставил мне полную свободу. Но так как все же приходилось советоваться с ним по тем или иным деталям сюжета, а это было связано с затруднительными для меня поездками, Алексей Николаевич предложил мне на время работы переселиться к нему на дачу в Детское Село, где мы могли бы без помех общаться друг с другом. Он в это время работал над сценарием «Петра Первого» для Ленгоскино, и ему трудно было отрываться для какого-либо другого дела. Около двух недель провел я под гостеприимной толстовской кровлей и за это время, наблюдая Алексея Николаевича изо дня в день в его обычной среде, еще больше стал понимать этого исключительного по творческому охвату писателя и неповторимо яркого, самобытного человека.

Людям, привыкшим встречать Толстого в шумном и светливом окружении бесчисленных посетителей и гостей — актеров, писателей, художников, музыкантов, деятелей кино и журналистов, в атмосфере непрестанных шуток и дружеского веселья, трудно себе представить, как длительно, настойчиво и упорно умел работать в одиночестве за своим столом этот, казалось бы, всего себя отдающий обществу человек.

А я, уже просыпаясь, с восьми часов утра слышал над своей комнатой тяжелое его похаживание, возню у книжных полок и знал, что рабочий кабинет недоступен в эти часы не только для посетителей и журналистов, но и для домашних. Только к одиннадцати, к утреннему

завтраку, Алексей Николаевич спускался на веранду, часто сильно запаздывая. Наскоро просмотрев газеты и погуляв с полчаса по саду, он вновь возвращался к своим рукописям. И так каждый день без малейшего отступления от заведенной привычки. Только обед, обычно всегда многолюдный, со съехавшимися друзьями и нужными по делу людьми, возвращал Толстого обществу. Здесь его уже покидала утренняя озабоченность и погруженность в свои мысли. Он становился таким, каким знали его все,— остроумным, оживленным, полным юмора собеседником, обаяние которого чувствовал каждый общавшийся с ним.

Наше либретто создавалось урывками, когда было для этого время, в паузах между основными литературными трудами Толстого. И все же оно подвигалось успешно. И когда первые желтые листья усеяли дорожки, я прочел Алексею Николаевичу в саду, перед клумбой ярких осенних цветов, окончательный вариант. Он остался им доволен и внес только несколько уже не столь существенных дополнений. Через два дня мы отправили подписанный клавиш в Малый оперный театр, и я расстался с дружеским домом Толстого.

Премьера состоялась весной 1937 года на сцене Малого оперного театра. Зал был переполнен, действие часто прерывалось аплодисментами и дружным хохотом всех ярусов. Сидя в полумраке директорской ложи, мы с Толстым переглядывались в самых бесспорных и в самых сомнительных местах спектакля, словно спрашивая друг друга, дойдет или не дойдет до публички тот или иной придуманный нами сценический трюк,— и облегченно вздыхали, когда доносилась из партера бурная реакция зрителей.

Спектакль прочно вошел в репертуар.

На товарищеском банкете после премьеры, объединившем исполнителей и постановщиков «Проданной невесты», Алексей Николаевич, радуясь от всей души тому, что осуществилось его желание показать советскому зрителю знаменитую чешскую оперу, высоко поднял свой бокал и произнес несколько запомнившихся мне слов.

Вот примерно что сказал он тогда:

— Мы только что прослушали близкую сердцу каж-

дого чеха оперу Сметаны «Проданная невеста». Увлеченные пленительной музыкой, вышитой, как яркое народное полотенце, цветами чешских национальных мелодий, мы откликнулись сердцем на все переживания Янека и Маженки, любящих друг друга, самозабвенно смеялись над глупостью зайки жениха, над одураченным сватом Кецалом. В пестрых своеобразных костюмах на сцене, в непривычном пейзаже чешских лесных предгорий, в бурном веселье деревенской ярмарки все нам близко и понятно. Эта незамысловатая деревенская история, где молодость и ум побеждают корысть и лукавство, раскрыла нам родную стихию славянского духа, славянской одаренности, мягкого лиризма и смелой силы. Все, о чем говорила музыка, воспринималось как свое, близкое по крови. Мы многое теряем оттого, что нам почти неведом мир общеславянской культуры. В этом убедились все, кто слушал сегодня этот радостный, жизнеутверждающий спектакль. И мы еще не подозреваем, какую огромную, творчески действенную силу несут в себе славянские народы, еще не сказавшие в Европе своего последнего слова. Я глубоко уверен в том, что мы еще собственными глазами увидим огромные исторические сдвиги, в которых первое место будет принадлежать нашей великой родине, а за нею и близким ей по крови славянским народам. В их культуре заложены начала великого жизнеутверждения, творческой радости.

Только после победной Отечественной войны стало понятно, какими прозорливыми оказались эти слова замечательного русского писателя.

Когда в памяти, уже спустя много лет, встает облик А. Н. Толстого таким, каким знали его товарищи по литературному делу, трудно представить себе, что этого полного неисчерпаемых внутренних сил человека уже нет с нами и уже настало время писать о нем воспоминания, стараться сохранить для памяти потомства даже самые мелкие, обиходные его черты. Но как передать неувядаемую прелесть его устных рассказов-импровизаций в кругу близких ему людей, как повторить, чтобы они не потускнели, живые его словечки, меткие замечания, острую шутку, дать живое представление о том, как Толстой читал собственные произведения, с непере-

даваемым, чисто сценическим мастерством разыгрывая в лицах целые сцены!

Вот он говорит перед широкой аудиторией, где-нибудь в одном из домов культуры, и это уже другой облик — строгий, весь внутренне собранный и целеустремленный. Слова падают мерно, веско, подчеркнутые многозначительными паузами, жесты сдержанны, голос несколько глуховат, но отчетливо доносит каждую фразу. Ничего лишнего, ничего бьющего на внешний эффект. И только сдвинутые на лоб очки да пальцы, привычно перебирающие исписанные листки, выдают внутреннее волнение этого умеющего владеть собой человека. Толстой не очень любил говорить публично, всегда заготавливал заранее специальные заметки, которыми можно было бы воспользоваться по ходу речи. Но, развывая свои мысли последовательно, логично, он в какой-то неуловимый, возможно и для самого себя, момент отодвигал в сторону все спасительные бумажки и из ораторского строя вступал в область более ему близкой непринужденной беседы. И тогда его речь обретала обычные, характерные для него интонации. Увлекаясь сам, он увлекал и аудиторию. Даже и лицо его менялось при этом. Из строгого оно превращалось в живое и лукаво-добродушное, жесты становились шире, интонации более гибкими. Яркое, внезапно вспыхнувшее слово, кстати и метко вставленная поговорка безошибочно доходили до аудитории. Кончив под аплодисменты, Алексей Николаевич грузновато сходил с трибуны и с деланно равнодушным видом пробирался сквозь толпу к выходу. А когда его обступали восторженные слушатели, беспомощно разводил руками и не без некоторой хитрецы довольно явственно бормотал себе под нос: «Ну, какой же я оратор! Помилуйте».

В быту поражала его чисто профессиональная наблюдательность, внимание к мелочам, казалось бы совсем несущественным. И через эти мелочи — что становилось ясно впоследствии — для Толстого раскрывалось многое в характере еще мало ему известного человека. «Для писателя нет ничего лишнего, — говорил он в таких случаях. — Далек не все из увиденного пригодится, но знать надо решительно все».

Известно, с какой тщательностью изучал Толстой

документы Петровской эпохи, когда писал свой знаменитый исторический роман, сколько прочел он книг и рукописей того времени, и не только исторически важных, но иногда, казалось бы, и недостойных серьезного внимания. «Мне нужно видеть, чтобы знать» — эта как бы случайно оброненная им фраза многое говорит о творческом методе замечательного художника, воображение и память которого всегда отличались исключительной точностью.

Вспоминается один разговор Толстого с работниками Ленгоскино, приехавшими к нему в Детское, чтобы договориться о некоторых постановочных деталях фильма «Петр Первый». Толстой был не в духе, вяло поддерживал беседу, на предложение еще раз поехать в студию, лично что-то проверить, всячески отнекивался и на все настойчивые просьбы отвечал лениво: «Ничего, ничего, вы и без меня свое дело знаете». Так и не удалось его в этот раз уговорить. Но однажды — это рассказывал один из участников картины — Алексей Николаевич неожиданно сам явился в студию и попросил, чтобы ему показали в гриме персонажей из народа. На замечание одного из работников: «Стоит ли, Алексей Николаевич, заниматься сейчас такими мелочами, вот лучше пойдете сюда...» — Толстой решительно возразил: «Нет, нет, все это важно. Очень важно. Меншикова или Шереметьева вы разделаете под орех — я это знаю. А вот как с мужиками, с боярами? А вдруг рожа не та? Мне это надо обязательно видеть».

И действительно, потеряв немало времени, просмотрел все, что было ему нужно.

В личности А. Н. Толстого так глубоко были заложены русские национальные черты, он так великолепно владел всеми интонационными оттенками и смысловым богатством русской речи — сочной, яркой, острой и прямой, что в этом редко кто мог с ним сравниться из сверстников и современников.

Когда я вспоминаю свои встречи с Алексеем Николаевичем, передо мной встает не только большой художник русского прихотливого, умного слова, но и прежде всего человек с богатой, щедрой и яркой душой. Правда, не обходилось у него порой и без некоторого умного лукавства, безобидной насмешливости и словесного

«нангрыша» — но это только в интимной дружеской беседе. Говоря с народной аудиторией, Толстой преображался. Сохраняя все краски, все смысловые оттенки речи, умел он при этом быть простым, точным, убедительным и никогда не прибегал к резким и прямолинейным эффектам беспронгрышного ораторства.

Помню, с каким напряженным вниманием, порою буквально затаив дыхание, слушали на фронте бойцы, когда я читал им вслух что-либо из статей Толстого того времени — «Народ и армия», «Родина» или «Разгневанная Россия».

Как-то после такого чтения меня у входа в землянку остановил уже немолодой сержант-артиллерист:

— Разрешите, товарищ капитан, списать у вас одно местечко из Толстого...

— Какое местечко?

— Да вот насчет того, что коль ты русский человек, так тебе что жизнь, что Родина — все одно. Стой крепко, а правда сама себя докажет. Очень по-нашему сказано!

Возможно, Толстой писал и несколько иначе, но самая суть дошла безошибочно.

Да, умел он говорить так, что всех брало за сердце. И так было во всем — вел ли он речь о временах петровских или обращал свое слово к советскому солдату, ко всему народу.

Живым и талантливым было это слово, как и он сам.